

**Краснов Пётр Николаевич**

**Цесаревна**

**Государь Руси Великой**

**Москва**

**Книга по Требованию**

УДК 93  
ББК 63.3

**Краснов Пётр Николаевич**

Цесаревна: Государи Руси Великой / Краснов Пётр Николаевич – М.: Книга по Требованию, 2011. – 218 с.

**ISBN 5-270-01886-1**

Генерал-лейтенант, атаман Войска Донского П.Н.Краснов известен и как писатель. В романе "Цесаревна" изображена Россия в период правления Анны Иоанновны, затем Анны Леопольдовны и Елизаветы Петровны (1709-1761), российской императрицы с 1741 года, дочери Петра Великого, возведенной на престол гвардией. В произведении также выведены многие государственные деятели того времени: граф, генерал-фельдмаршал Алексей Григорьевич Разумовский, графы братья Шуваловы, А.П.Бестужев-Рюмин, М. В.Ломоносов и другие.

**ISBN 5-270-01886-1**

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011



# Часть первая

## I

В Конотопе верховых и выючных лошадей оставили. Дальше, до самой Москвы, шел ямской тракт, и полковник Федор Степанович Вишневский подрядил телегу по казенной подорожной. Он ездил в Венгрию покупать вина для императрицы Анны Иоанновны и, отправив покупку обозом за надежным бережением, сам спешил в Петербург.

Алеша вышел на крыльцо и долго смотрел, как реестровый казак с пятью заводными лошадьми трусил по обратной дороге. Был прохладный полдень, и уже пахло весной. Земля на солнце оттаяла и просохла. Белая пыль поднималась за лошадьми, и в ней, как в тумане, горел неярким пламенем алый тумак черкесской шапки казака. Висячие рукава кунтуша мотались за спиной, как крылья, и с дома, с самого детства знакомые и точно родные лошади спешили покорной ходой. Серко бежал сбоку, и Алеше долго были видны высокие луки, обтянутые алым сафьяном полковничьего седла.

На деревянном крыльце, на щелястом полу с глубокими темными морщинами плохо оструганных досок лежали пестрые ковровые хуржины — переметные сумы с домашней провизией. Темное горлышко толстой пузатой сулеи с токайским вином — счастливый покупатель себя не забыл — торчало из крайней сумы. В хуржинах — Алеша их укладывал с матерью — лежали коржики сладкие, на меду, домашние сухари, что напекла и насушила ему на дорогу, — «аж до самого Сам-Питербурха чтобы хватило» — мачка Наталья Демьяновна. Громадный кусок сала, ветчина и колбасы — деревенская снедь в мокрых холщовых тряпичках наполняли сумы. Алеша долго смотрел, как серел и голубел, уменьшаясь, точно тая в воздухе, казак с родного хутора Лемеша, и с ним серело и таяло, исчезая в небытие, и его прошлое. И сейчас — будто кто-то совсем другой, незнакомый и чужой, стоял на крыльце ямской избы, над которой свешивали воздушные нити тонких ветвей еще голые акации.

Было грустно. Точно снились — поднимались воспоминания нерадостного и невеселого детства.

Пригонит Алеша к вечеру общественное лемешское стадо и, голодный, обгорелый на толоке, пропахший скотиной и полынной горечью степных трав, с длинным бичом на плече войдет в хату, снимет рваную шапчонку и станет креститься на темные лики икон, на толстый дубовый сволок, где славянскими буквами, под титлами вырезана надпись: «Благословением Бога Отца, поспешением Сына». Здесь был вырезан крест: «Содействием Святого Духа создался дом сей рабы Божией Натальи Розумихи. Року 1711 маия 5 дня». Помолившись, ждет от отца приглашения вечерять.

За столом, на лавке, сидит отец и с ним человек пять соседей казаков. Все уже пьяны достаточно. Оловянные стаканы с брагой то и дело осушаются. Отец, кивая красной, в седых кудрях головой и расправляя длинный ус, рассказывает — в который уже раз! — о своих доблестях и невзгодах.

— Та я ж, — кричит он, стуча стаканом по столу, — с великой охотой все козачские против татар и протчих неприятелей отправлял походы!.. Ох!.. —

щелкает он себя по высокому и красивому лбу. — Гей! Що то за голова, що то за розум!.. Но... нема хвортуны... Вишь, бидолага! Ради частых нечаемых, ово от неприятелей, ово от междуусобных разорений все знищало... А то!.. Гей, хлопцы! Що то за голова, що то за розум!..

С этой отцовской поговорки Алешу и все их семейство прозвали на хуторе Розумами.

Теперь казалось Алеше, что тогда устало сидел в углу, на лавке в хате, пил молоко, прислушиваясь к пьяной болтовне отца, совсем и не он, а какой-то маленький и жалкий пастушок, ничего общего не имевший со статным молодцом, что стоит сейчас на крыльце ямской избы в Конотопе и что едет с паном полковником в Санкт-Петербург.

Вспоминает Алеша, как он тайком от отца ходил к дьячку села Чемер учиться грамоте и церковному пению. Отец узнал об этом и, — тоже точно и не наяву это было, но только приснилось, — пьяный гонялся за ним, а он в смертельном испуге убежал от отца, кружа около хаты. Отец настигал его. Он проскочил под ворота, а отец вслед ему пустил с такой силой топор, что он глубоко врезался в доски ворот... После этого Алеша бежал из отцовского дома и поселился у дьячка. Здесь познал он сладость науки и прелесть гармонии пения.

И вот совсем недавно, в начале января, — как хорошо запомнился этот день Алеше, а тоже и не поймет совсем, во сне это ему снилось или точно так было, — в этом самом сером чекменике пришел он домой, к матери. И видит... Совсем сон... В маленькие окна светит яркое, утреннее солнце. И от того ли, что небо было какое-то особенно голубое, или от чего-то другого — вся хата точно золотисто-голубой дымкою наполнена. В ней совсем не похожая на себя на лавке сидит Наталья Демьяновна. Ее широкое, белое лицо восторженно улыбается чему-то далекому, ею одной зримому.

— А знаешь, сынку, — говорит она, и ее голос не похож на обычный голос, — что мне нонче приснилось. Вхожу я будто в хату, а в ней на потолке, о чудесе! светят солнце, месяц и звезды. И чего николи не бывает — все разом. Я потом и сказала о том соседям, а те посмеялись надо мной... А я, сынку, правда ж — так явственно: солнце, месяц-звезды... Чаю, не к худу... солнышко видеть во сне?..

Как запомнилось это почему-то Алеше? Потому ли, что недавно это было, потому ли, что уже совсем тогда необычной показалась ему мачка, и освещение в хате было такое, что впору только присниться, но и сейчас точно снова видит: свет голубой в хате, совсем особенный, небывалый. Солнце бросает квадратные золотые отблески на белый глиняный пол, пахнет сухими травами, и в этом свете, в этом запахе — мать восторженная, восхищенная своим необыкновенным сном.

— Солнце, месяц и звезды — все вместе!.. И ты пришел!.. Да не про тебя ли, Алеша, я сон тот видала?

В золотисто-голубом дыму родная, и глаза блестят, точно отразили, загаили и сохранили во сне виденные светила.

Три дня спустя проезжал через село Чемер полковник Федор Степанович Вишневский. Был праздничный день, и в чистую, приветливую сельскую церковь прошел пан полковник. Он стоял впереди всех в парадном, золотом шитом жупане, горделиво опирался на саблю, отставлял ногу в широких, малинового бархата шароварах и наклонял чубатую голову, слушая пение хора. С клироса

неся чистый, точно прозрачный, звенящий тенор и брал за самую душу умильтельными звуками, настраивая молитвенно. Когда кончили службу, полковник не вышел с народом, но подождал и попросил к себе дьячка с клироса.

— А кто у тебя тенором так знатно пел? — спросил он, расправляя длинный ус.

— То Алексей Розум, пан полковник, — отвечал дьячок.

— Знатно пел... Очень даже правдоподобно... А ну, покажи мне того Розума, дай посмотрю, что за чоловик.

Перед полковником предстал высокий, стройный двадцатидвухлетний парубок. Смугловато было загорелое лицо. Под размахом густых черных бровей из-за решетки длинных, по-детски загнутых кверху ресниц приглушенным огнем горели прекрасные, глубокие темные глаза.

Полковник внимательно с ног до головы осмотрел парубка, крикнул от удовольствия и сказал:

— Да такому молодцу в Санкт-Петербурге петь. А ну вот що, везите меня к родителям молодца, покумекаем с ними. Может, чего и надумаем.

Так только во сне бывает, вдруг в миг один, в мановение очей вся жизнь перевернулась для Алеши, и прошлое стало сном, а будущее манило куда-то в полную тайны неизвестность.

Пьяный отец бил крепко по рукам полковника, точно лошадь ему продавал, и, тыкая Алешу в грудь, кричал:

— Ты посмотри на него! Гей! Що то за голова, що то за розум!

Мать, не осушая залитых слезами разлуки с сыном глаз, пекла и жарила на дороге. А потом ранним утром хлопцы на дворе седлали и вьючили коней и — айда!.. понеслись кони широкой ходой через сады и левады, через поля и луга в степь, к глубоким весенним бродам, к паромам через широкие и быстрые реки, в далекую зовущую даль.

Все прошлое исчезло, растаяло, как дым, улеглось, как дорожная пыль. Впереди, как эта бесконечная дорога, расстилалась жизнь, и в ней: все от Бога, все через Бога! Каждая былинка, каждый камушек, деревцо, придорожная роща — все зовет, все сулит нечто новое. Кто знает — счастье, нет ли?..

— Все равно нечто новое, — с детства усвоил Алеша, — хоть гирше, да иньше!..

Ямщик подал телегу. Тройка сухих гнедых подняла пыль. Под широкой расписной дугой побрякивал колокольчик, бубенцы-глухари незвонко шелкали. Длинные оси были густо намазаны в синь ударяющим дегтем. Вишневский вышел из хаты. Алеша накладывал на телегу хуржины, закутывал их в душистое полынное, степовое сено, подкладывал подушки.

Все было так ново для Алеши. И быстрая езда от стана до стана, и ямские избы, около которых часто стояли шинки, царевы кружала, с зеленой елкой над крыльцом, где была истоптана земля конскими копытами и густо занавожена и где терпко пахло жильем и постоем.

Там после грохота скачущей по выбитой дороге телеги, после немолчного звона колокольцев и бубенцов, покрика ямщика, толчков на выбоинах и колдобинах, когда Алеша цеплялся руками за грядки — такой прекрасной, полной покоя казалась точно живая, чарующая и медлительная тишина. Кругом — покой широкой степи, уснувшие, опустившие нежные весенние листья вербы у колод-

ца и сонные голоса ямского комиссара и ямщиков. И, кажется, неслышно бьется сердце, точно и оно остановилось на отдых, на станцию, на перепряжку.

День перевалил за полдень. Длинными стали синие тени. Пахло навозом, сеном, соломенным дымом, хлебом и точно ладаном. В черной растоптанной грязи у колодца лошади ожидали, когда наполнят долбленную колоду, журавель со скрипом опускался в глубину и долго и медленно тянул тяжелое ведро. Лошадь в сбруе пили жадно, поводя боками. Ямщик посвистывал и лениво переговаривался с бабой, принесшей ему хлеб и сыр, завернутый в тряпицу, с крыльца комиссар в мундирном кафтане говорил хриплым, непроснувшимся голосом:

— Обрато поедешь, завезешь письмо помещице Олтабасовой.

Ямщик, не глядя на смотрителя, глухо, рывком отвечал:

— Понимаю.

Вишневыский в хате пил токайское и закусывал печеными яйцами и таранью. Этой тарани, до боли в языке соленной, и копченого сала до отвала наелся Алеша, и ему хотелось прильнуть вместе с лошадьми к колоде, куда с холодным, дремотным журчаньем выливалась из бадьи вода, и пить, вложив полные губы в самую влагу.

Из-за угла неожиданно появился сбитенщик. Он был в валенках, в рваном полушубке, к которому был привьючен большой медный куб с длинным краном, закутанный в тряпье. Полковник из окна крикнул Алеше:

— Розум, напейся сбитенька... Возьми на пол-алтына. Сбитенщик с пояса снял глиняную кружку, ополоснул ее горячей водой, и золотистый сбитень, пахнувший медом и мятой, дымясь паром, журча полился из крана в кружку. К сбитню подана пара баранок. И, Боже, каким нектаром, каким благодатным напитком кажется Алеше эта кружка горячего сбитня!

Только допил — уже телега запряжена и стоит у крыльца, полковник, отдуваясь винным духом и потягиваясь с хрустом в сухих суставах, появляется на крыльце. Садятся, закрываются от пыли холстом.

— Ну, гони, что ли, ямщик!

Дальше, дальше разворачивается дорога-жизнь, путь-дорога дальняя... В полдень уехали из Конотопа, а к ночи незаметно отмахали восемьдесят верст, и все было уже совсем не похожее на то, что было в Малороссии.

Синяя степь, балки, поросшие мелким дубняком и боярышником и темными кустами терновника, на южных скатах начинающего зацветать восковым цветом, розовые кусты тюльпанов на лобках холмов остались позади и вправо. Сегодня еще проезжали мимо белых глиняных малороссийских мазанок с высокими и крутыми соломенными крышами, с вишневыми садочками, кое-где начинающими опущаться нежным белым цветом, мимо высоких распятий, окруженных кряжистыми дубами с черными голыми ветвями, простертыми в разные стороны, мимо серых левад из ясеней и серебристых тополей, мимо ставцев с сухими, желтыми, прошлогодними камышами, с чмокающими в тине карасями и нездревато-серым, в скотских следах, спуском водопопя, мимо так похожего на Лемеш хутора, где дивчины в расшитых рубашках с крепкими ногами, обернутыми шерстяными плахтами, и парни в смушковых шапках и в белых холщовых шароварах, замазанных дегтем, как две капли воды походили на лемешских обывателей, а завтра с утра потянулся дремучий бор. Толстые дубы тесно придвинулись к узкой дороге — куда же ей до широкого малороссийского, степного шляха! —

осины трепетали молодыми листьями, и Алеша знал, что потому так трепещет и словно дрожит осина, что на ней Иуда, предавший Христа, удавился. В темной дремучей глубине, точно волосы гигантов деревьев, висели увядшие плети ежевики и плюща, сухой бурелом, поросший зелено-серым мхом, лежал в глубине, и желто-коричневый прошлогодний папоротник в своей непролазной гуще словно таил что-то страшное. Уж не медведь ли там был?

Вишневецкий достал из деревянного футляра пистолеты — ходила в народе молва: в этом лесу «гуляют».

В тесном проезде дороги, заросшей белыми анемонами, куда до самой колеи добежали молодые березки и темные косматые можжевельники, глухо и таинственно позванивали бубенцы. Шагов на полтораста тянулась узкая темная лужа. Ямщик придержал лошадей, и они вошли в нее, осторожно ступая, опустив головы к самой воде, точно стараясь измерить ее глубину. Крупными алмазами летели брызги из-под копыт, колеса с прозрачным тихим журчанием раздвигали воду, железные обода стали серебристо-белыми, грязь и пыль сползли с дубовых спиц. Покряхтывал, покачиваясь на глубинах, кузов телеги, передние колеса ушли совсем в воду, лошади крепко били по мокрым крупам туго подвязанными хвостами. Ямщик обернул шербатое, в рыжих оспинах лицо и сказал, тыча в лес кнутовищем:

— Вот тут они и нападают. Потому, куда ты подашься?.. Глыбко и перевернуться на колдобине очень даже просто.

Алеша большими, черными глазами в длинных ресницах пытливо оглядывал лес. Жутко и сладко было у него на сердце.

«А ну нападут? — думал он. — Что же, и пускай нападут... А полковник их из пистолета, а я кулаками», — он сжимал красивую, крупную руку с длинными пальцами и морщил брови. Полковник сбоку поглядывал на него и улыбался в темный ус.

— Аи хорош ты, Алеша, — сказал полковник. — В деревне родился, а любой петиметр тебе позавидует — так ты прекрасен. Сколь прекрасна в тебе и богата порода!

Эти слова были непонятны и раздражали Алешу. Не девка же он! Он сильнее хмурил красивые брови и становился еще лучше в дикой, волнующей, первобытной и яркой своей красе.

За лесом, в жалких полях, показалась деревня. Лошадей меняли у въезжей избы, и пока перепрягали, Алеша дивился, как могут так жить люди. В низкой горнице было темно. Узкое окно было затянуто пузырем. Почти всю горницу занимала широкая печь. На ее лежанке, на грязном и смрадном тряпье копошились люди, ребенок плакал в зыбке, подвешанной к жерди, маленький еще, на шатких ногах теленок топтался подле, квочка неподвижно сидела в гнезде, и тут же возились дети в рваных рубашонках — все жило вместе в жидкой и вонючей грязи земляного пола. Полковник не входил в избу, Алеша брезгливо осматривал ее бедное и жалкое убранство. Хозяина не было, лошадей привела хозяйка, за ямщика сел парнишка лет десяти, без шапки, бледнолицый, беловолосый и грязный.

Точно в другое какое государство попали.

«Москали», — думал Алеша, с жалостной жутью посматривая на деревни, которые им попадались. Бедны и унылы были они. Крошечные, криво срубленные

избы были одна, как другая — всех поравняла бедность. Они точно вросли в землю. Крупные, прокопченные дымом, они не походили на постоянные жилища людей. Алеше казалось, что стоят они с очень давних времен, с тех времен, о которых Алеша читал в Библии, или с тех, когда напали на Русь татары. Этим времен не помнит ни отец, ни дед Алеши. И не было садов. Редко где покажется голая топыркая яблоня с бледной, бархатистой зеленой розоватых почек, да на погосте над темными покосившимися крестами несколько плакучих берез свесили к могилам тонкое кружево голых ветвей.

Вдруг увидел Алеша за деревней толпы людей. За темным садом, окруженным высоким частоколом, черный, замшиевший, с волоковыми узкими окнами, с крутой, ободранной тесовой крышей, с обвалившейся прогнившей резьбой, необитаемый догнивал боярский терем. Народ подле копал пруд, и за стройными прямыми аллеями молодых, недавно посаженных деревьев, в лесах стоял новый, причудливо выстроенный, низкий и длинный, одноэтажный дом. В окнах блистали стекла, оранжеви и парники отражали солнечный свет.

Через толпы рабочего народа ехали шагом. Алеша видел, как мужик в коричневом азяме стал на четвереньки, на спину ему положили план, и немец большим циркулем размечал по нему. От толпы отделился человек в старом, потрепанном солдатском кафтане и треугольной черной шляпе. Он, широко шагая и размашисто по-солдатски махая руками, подошел к телеге и, скинув с головы шляпу, сказал:

— Дозвольте, ваше благородие, просить милости подвезти меня до деревни Собакиной. Аз есмь ефрейтор Ладожского полка Семен Мурлыкин.

— Садись, — сказал Вишневыский. — С здешних мест?..

— Господ Забелиных бывший крепостной.

— Все строится?

— И не приведи Бог, чего замышляем, — усаживаясь лицом к Алеше и Вишневыскому и спиной к лошадям, сказал Мурлыкин. На его худощавом, темном, скуластом лице, в самых углах губ чуть скользнула насмешливая улыбка. — Вишь, новую какую Расею немцы строят. Господам — хоромы, а рабам — могилы... Да что, ваше благородие... Я сам походы ламывал, фельдмаршала Минихова, вот как тебя зараз вижу, видал. Ему что! Русские люди для него прах!.. Вышли мы, знашь, в степь пустую, и стал тот Минихов расейских людей перебирать, штаб-и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать, а самых старых и заслуженных полковников перед фрунтом армии под ружьем водить, а все за безделицу: увидит, понимать, у офицера галстух не белый или что сам он, знашь, не напудренный, а в степи, сам понимать, кому на это смотреть?.. Петра Великого законы стали уничтожать — сам понимать, какое это дело выходит!.. Провианту у нас ничего уже не стало. Люди стали ослабевать и с голода помирать. Минихов ни на что не смотрит. Хотя мертвых старых солдат перед собой видит, никогда никого не пожалел, ибо не его то крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворян он ни одного в свойстве даже не имеет, так чего же их жалеть!..

— Ты что же, беглый?.. Мурлыкин точно обиделся.

— Зачем?.. Ничего я не беглый! Вот и ярлыки есть при мне. Посылан я от полка за сапожным товаром.

Он небрежно сплюнул и, показывая на блиставшие на солнце стеклами хоромы, продолжал:

— Все строимся... Один Минихов плантов сколько перечертил — страсть! Граф Биرون, слышали?.. — в Питербурхе конскую школу поставил, ну чисто храм Божий, удивлению подобно. Граф Растреляев строил, из Италии, сказывали, выписали нарочно такого доку. Ныне в Питербурхе — лошади, да что лошади... канарейке, чижу несчастному какому, скворцу, снегирию куды занятнее живется, чем крепостному православному человеку. Потому одно слово — немцы!.. Им губить русского человека надобно. У своих я побывал — аж даже тошно стало! Чистый ад! Отец с матерью на постройках, а детишки малые со скотом валяются, не кормленные, в грязи да в коросте!.. С двух концов Расею жгут!.. Ну да!.. Недолго им осталось пановать да мордовать над нами!

— Что недолго? — спросил Вишнеvский.

— Да что!.. Сам понимать, растет у нас, — солдат подмигнул полковнику, — понимать кто?.. Дочка евоная!.. Наша солдатская дочка!

— Ты, Мурлыкин, ты того, зря не болтай. Ты меня разве знаешь, кто я?..

— Вижу. Козацкий полковник. Вы, ваше благородие, сами лучше меня понимаете, о чем речь веду.

Мурлыкин стиснул зубы, крепкие желваки гневом заиграли на его скулах, лицо стало бледным от злобы. Он крепко сжал черные, зачугунелые на солнце и морозе кулаки и злобно сказал:

— Не владать немцам Россией! Ни во веки веков! Вот так по самое горло ухватят — все одно выскользнем. Растет у нас Богом данная полтавской победы дочка, искра Петра Великого, цесаревна Елизавета Петровна!.. Вот когда стройка-то пойдет!.. По-вчерашнему, по-петровскому!

Неожиданно, ловким оборотом Мурлыкин прыгнул с телеги и побежал по проселку к черневшей на бугре курными маленькими избами деревушке.

— Спасибо, — крикнул он, взмахнув солдатским треухом. — Вот оно и Собакино!

— Що за человек?.. — спросил Алеша у Вишнеvского. — Що он такое говорит?

— Что за человек, — сказал, потягиваясь, полковник, — беглый солдат. Мало их, думаешь, по России-то бродит да языком зря звонит. Попадется — узнает зеленую улицу. Забьют его шомполами.

Чем дальше ехали, чем ближе были к Москве, тем чаще видели стройку новых помещичьих гнезд. Старая Россия, с ее деревянными, веками стоявшими, кондовыми хоромами исчезала, точно змея меняя свою шкуру. Повсюду появлялись новые и часто каменные дома немецкой или голландской стройки. На смену тенистым старым беззатейливым садам разбивали новые парки с кругло постриженными молодыми деревьями, копали пруды, ставили беседки и павильоны. Везде распоряжался выписной из-за границы немец или итальянец, ученик большого мастера. Землю размечали по планам, по дорогам ставили верстовые столбы, камнем мостили дороги у въезда в города и городские улицы.

Точно распахнул Петр Великий окно в Европу — и вот она сама жужжащими надоедливими осенними мухами понеслась, полетела в Россию. Все это новое и по-своему прекрасное было только для дворян и помещиков. Рядом столько что отстроенными в немецком стиле хоромами, окруженными садом со стриженными фигурами, буксовыми кустами с подражанием Версалю, с гипсовыми статуями и мраморными урнами — таким же беспорядочным лохматым стадом разбега-

лись низкие курные, черные избы, вросшие в землю по самые окна, накрытые шапками ржавой старой соломы. Такая же в них была грязь и вонь, так же вместе с телятами и поросятами валялись дети. Удивился Алеша, как не помрут они все в этой тесноте, духоте и воню? Люди здесь были другие, чем в их Черниговской округе. Маленькие, кривоногие, кособокие, обросшие до самых глаз бородами, грязные и неприветливые... Настоящие москальи!..

Шли дни, то в дороге, то в избе в ожидании лошадей, или на реке, где ждали, когда спадет вода и можно будет переехать вброд, или когда подадут паром, то журчали колеса по пыльной дороге, лошади бежали спорой набеганной рысью, и немолчно звенел, заливался колокольчик. А потом точно время останавливалось. Сонная деревня. Долгое ожидание лошадей, терпеливое, тихое и дремотное. Сколько бродов проехали, сколько рек переплыли на парамах, сколько деревень и лесов миновали — и не упомнит Алеша.

Вдруг пошли богатые села, с тесом крытыми домами. Появились рослые и красивые мужики, бабы в цветных сарафанах, сады у домов, церкви с синими и зелеными куполами — довольство, веселье брызнет с них, как дождь в жаркую пору. И снова пустыри, дремучие леса, пески, поросшие пыльным вереском, курные, темные избы, ржавые болота, тощая кляча с трудом волочит тяжелую соху по кочковатой неплодородной почве. Россия показала Алеше свое лицо, и как переменчиво было оно! То, старое и голодное, кривилось оно в злобную гримасу, то улыбалось широко и радушно.

Чаще стали попадаться богатые села, красивые поместья, зеленые сады, веселый и развязный народ.

Москва была не за горами.

Весенний надвигался вечер. Солнце опускалось к недалекому темному лесу. От лошадей бежали смешные тени. Ноги у них были длинные и тонкие, они меряли землю, как циркулем мерял план на стройке тот немец, которого видал Алеша. После теплого дня быстро свежело, и затаившие в дневной жар свои ароматы цветы благоухали кругом. С крутого зеленого холма дорога спускалась в широкую луговину и шла через редкую прозрачную березовую рощу. Через низкую траву просвечивал зеленый мох, и в нем нежными изумрудно-зелеными кустиками поднимались ландыши. Белые струйки воздушных резных колокольчиков робко поднимались из длинных острых листов. Их чистый аромат сливался с запахом березовой почки и был так обаятелен, что пан Вишневский глубоко потянул носом, тронул ямщика за плечо и сказал:

— А ну-ка, братец, шажком. Уж больно дивно хорошо.

Колеса шурушали по песку. В роще наперебой, прощаясь с солнцем, пели яблочки и малиновки, и неподалеку соловей, пробуя голос, пускал первые робкие прерывистые трели.

Съехали с холма. Поехали по широкой дороге, в четыре ряда обсаженной березами с нежной прозрачной зеленью. За ними на холме показались высокие терема в густых садах. Окна пламенели на солнце. Золотые купола церкви блистали, под ними чинными рядами стояли избы большого богатого села, от него черными линейками огороды спускались к дороге и лугу. За дорогой был пруд в зацветающей черемухе, в тонких и нежных рябинах, в синеватой дымке плакучих ив. Пруд розовел, отражая закатное небо.

Меж берез высокие столбы качелей стояли. Раскачивались на тонких прутах

широкие доски, накрытые цветными коврами. Подле в затейливом хороводе сходились и расходились пестро одетые парни и девушки. К небу взлетали с мерным скрипом качели. У девушек, стоявших на краю досок, ветром вздымало юбки сарафанов, обнажая ноги. В лад взмахам качелей раздавалось хоровое пение. Пели нечто веселое, и Алеше, воспитанному на строгом церковном, «знаменном» распеве и на задумчиво-грустных малороссийских песнях-думах, казалось, что пели что-то срамное.

Телега въезжала на гулянку. Ясны стали четко отбиваемые слова:

Если в бане пару мало — В камень воду льют,  
Чтобы пару больше стало,  
Значит... — поддают...

«Випп-вупп», — скрипели качели. В самую небесную высь летели веселые девушки. В кустах кто-то играл на флейте. Звонкий смех и визги глушили пение.

Девушка в голубом сарафане проскользнула, держась за жерди, по доске и в тот миг, когда доска проносилась над землей, прыгнула с нее, едва коснувшись земли, и пробежала с разлета к дороге. Она была рослая и крепкая. Густые золотисто-рыжие волосы, на концах ударявшие в бронзу, завитками, змейками, локонами разбегались по чистому белому лбу. На спине тяжело покоились косы. Дорогие мониста сверкали на шее. Белая, в кружевах, французского батиста рубашка прикрывала высокую молодую грудь. Голубой сарафан был заткан золотыми розами. От бега, от ветра качелей сарафан приник к ногам и очертил красоту их линий. Маленькие носки тонули в траве. Одуванчики золотым филигранным венком оправили башмачки. Белое, округлое лицо было приятной полноты и на щеках с ямочками горело румянцем. Небо точно отразилось в синеве глаз. Маленький пухлый рот приоткрылся. Точно ряд ландышей сверкал за алым разрезом милых губ.

Никогда такой совершенной красоты не видал Алеша. Могла ли она быть девушкой земли? Не была ли она из того мира, который раз показался и навеки запомнился Алеше. Когда зимой вошел в хату и увидел ее в прозрачно-золотисто-голубой дымке, и в ней мать рассказывала ему свой сон. Солнце, луна и звезды приснились тогда матери. Ярче и прекраснее солнца, таинственнее луны, нежнее далеких звезд показалась голубая красавица, подлинно царевна сказки...

Ямщик и полковник скинули перед ней шапки, и Алеша, отдаваясь преклонению перед совершенной этой красотой, сорвал с головы старый мерлушковый капелюх с серым чабаньим верхом и низко поклонился.

Губы девушки раскрылись в ласковой улыбке. Она небрежно-милостиво кивнула головой в ответ на поклон, круто повернулась, подбежала к качелям и, выждав, когда доска проносилась мимо, вскочила на нее и стала у жердей.

«Випп-вупп», — скрипели качели под нажимом сильных ног. Дальше ехала телега, неся за ней запах березы, черемухи и ландышей, и догоняла ее веселая срамная песня:

Сели девки на качели, Взад-вперед снуют,  
Чтоб качели вверх летели, Значит... — поддают...

«Випп-вупп, випп-вупп», — в лад песне носились вверх, вниз качели.

Ямщик и Вишневецкий накрыли головы. Легкой рысцою побежали передошедшие лошади.

— Кто она, ось подивиться? — задыхаясь от непонятого счастья, спросил Алеша.